



Вольфганг Бюшер  
*Берлин —*  
Пешее путешествие *Москва*

Travel Series

Вольфганг Бюшер

**Берлин – Москва.  
Пешее путешествие**

«Паулсен»

2003

**Бюшер В.**

Берлин – Москва. Пешее путешествие / В. Бюшер — «Паулсен»,  
2003 — (Travel Series)

ISBN 978-5-98797-010-2

Книга «Берлин – Москва» (2003) немецкого журналиста и писателя Вольфганга Бюшера рассказывает об особом рода «путешествии на Восток», о пешем восьмидесятидвухдневном пути к пониманию себя и других на переходе от Берлина до Москвы.

ISBN 978-5-98797-010-2

© Бюшер В., 2003

© Паулсен, 2003

## Содержание

Часть 1. Забыть Берлин	6
Прощание	6
Аллея призраков	7
У костра	10
По ту сторону Одера	13
Блуждающие звезды	16
Польский дзен	19
Любовь польской графини	21
Бар у Тома – злачное место	27
Серьезная граница	31
Часть 2. В Белой стране	34
Контрабандистки	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Вольфганг Бюшер

## Берлин – Москва. Пешее путешествие

Originally published under the title BERLIN-MOSKAU

© 2003 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg

ALL RIGHTS RESERVED

© Издательство, «Европейские издания» 2007.

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

*Посвящается Сюзанне и Анне Делфине*

## Часть 1. Забыть Берлин

### Прощание

Однажды ночью, когда лето было в самом разгаре, я закрыл за собой дверь и отправился в путь: прямо на восток, насколько это было возможно. Ранним утром Берлин был совершенно тих. Я слышал только стук своих подошв по полу, затем по гранитным плитам. Воздух был насыщен сладостью – цвели липы, а Берлин был исполнен бодрости, но меня не слышал. Как всегда он лежал без сна и как всегда пребывал в ожидании, предаваясь путанным исполинским грезам, полыхавшим зарницами поверх нагромождения зданий. Ночью лил дождь, и, когда мимо прошел автобус, его стоп-сигналы прочертили красные линии на мокром асфальте. Движение становилось все более интенсивным, в аллеях кричали птицы, город, поживаясь спрессонья, вскакивал на ноги, скоро служащие сплоченными колоннами устремятся в свои бюро. Ко всему этому я был уже не причастен.

Последние дни пронеслись стремительно, и вот это утро наступило. Перекинуть через плечо самое необходимое, остальное, весь этот успокоительный балласт, – прочь. Закрыть за собой дверь, наутро другую, потом еще одну и еще – и дальше, дальше. Через Одер, Вислу, Неман. Через Березину и Днепр. Идти до самой ночи. До самого утра. До тех пор, пока не дойдешь. Нечто вроде стыда охватило меня из-за грандиозности замысла: сегодня я иду на Москву. Я был рад безмолвию Берлина. Любопытные взгляды я не смог бы вынести.

Сбоку движется нечто. Витрина, в ней отражается человек. Он шагает по темному зеркалу в своих новеньких оливково-зеленых военных брюках, в оливково-зеленой рубашке и добротных сапогах. Все это ему подарено, его поступь подчеркнуто бодро. Когда лето закончится, где я буду, зеркало? Витрина была из старого пузырчатого стекла, она задрожала, будто ветер пронесся над водной гладью, и отражение подернулось психоделической рябью. Отъехал трамвай, последний на долгое время, я прислушался к тому, как он удаляется, к его грохоту и завываниям. Затем он затих и скрылся на западе. Напоследок стало не по себе: комок в горле, промедление перед янтарным светом на полу, мысль о тех, кто остается...

Потом еще был супермаркет на восточной окраине города. Двое мужчин в шортах сидели на скамейке и ждали открытия магазина. Подошел третий. «Я усё пью! – кричал он. – Колу, пиво, шнапс – усё», и толкал перед собой тележку, как престарелая фрау Вайгель<sup>1</sup> на театральных подмостках города, который я теперь покидал. «Вали отсюда!» – завопила парочка на скамейке. Усёкавший парень свалил, затерявшись в наступающем дне, который имел цвет влажной извести и такой же запах. На самом деле последним впечатлением от Берлина сталадохлаямышь. Все ускользнули от ночной бойни, а она осталась лежать, и, хотя она была достаточно упитанная, ни одна кошка ее не съела. Мышь лежала, вытянув все свои четыре ножки, а неподалеку высилась безнадежная коробка детского сада, называвшегося «Сороконожка». И действительно, лихая сороконожка красовалась на его стене. Я прошел мимо издевки и мимо мыши, потуже затянул рюкзак, достиг спасительного последнего поворота – и был таков.

## Аллея призраков

За первый день в дороге не произошло ничего особенного, за исключением того, что я шел и шел, и в первой встречной после Берлина деревенской лавке купил себе набор для шитья, который тут же выбросил. Оставил только ножницы: они были очень легкими, а это – самое главное. Ножницы оказались такими миниатюрными, что постоянно соскальзывали с кончиков пальцев, но благодаря некоторому упорству и тренировке мне удалось нарезать пластырь полосками, чтобы заклеить мозоли на правой ступне, пока не было пузырей. Всегда болела правая нога, и никогда – левая, так оставалось до самой Москвы.

День, начавшийся известковой бледностью, стал жарким и душным, я прошел уже деревушку Вердер. На восточном берегу Эльбы имена населенных пунктов, как койки пролетариев в Берлине двадцатых годов, заняты сразу двумя-тремя претендентами<sup>2</sup>. Мальхов. Вустров. Глиннике. Вердер возник во время Тридцатилетней войны, но пока я через него шел, он притаился и делал вид, будто его здесь нет: дворы были заперты и спрятаны за желтыми кирпичными стенами высотой в человеческий рост, а каменная церковь укрылась под древними каштанами. Я посидел немного в их тени, и Вердер опять остался в одиночестве со своими коммунистическими улочками, названными в честь Карла Маркса и Эрнста Тельмана, со своими трогательными песчаными дорожками, со своей звенящей и жужжащей полуденной тишиной, в которой слышалось нечто гнетущее и демоническое.

Подъехал велосипедист и захотел поболтать. Его путь лежал до Мюнхеберга и обратно. Я пробормотал что-то по поводу более длинной прогулки и расстался с ним. Уже за несколько недель до начала путешествия у меня возникло сильнейшее нежелание подвергаться расспросам. Я хочу это сделать – какие могут быть объяснения? Я быстро шел через тихие деревеньки, по полевым тропам, сторонясь людей и их любопытных взглядов.

Прямой путь на восток теперь представлял собой лишенную тени песчаную дорогу через Красный Торфяник – лощину, кишашую тысячью микроскопических жизней и смертей. Здесь кипела непрерывная работа. В воздухе – вихрь крыльев, а внизу в траве трудилась целая армия миниатюрных тел: прожорливые насекомые в чешуйчатых панцирях, коричневых, черных, сине-зеленых с металлическим отливом. Лощина жужжала и стрекотала, я замер, чтобы не нарушать чистый полуденный шелест шумом своих шагов. Через некоторое время мой слух различил пульсацию, обладавшую ритмичной монотонностью современной танцевальной музыки. Нахлынуло, отхлынуло, взмыло высоко вверх. Торфяник бурлил и танцевал. Звуковые потоки захлестывали меня, волны лощинной музыки слышались отчетливее, я удивился, что никогда прежде не ощущал столь ясно звучание космоса, мне пришло в голову, что Красный Торфяник одновременно посылает сигналы и принимает их как огромная спутниковая антенна, настроенная на внеземные частоты. Мысль об этом не была сверхъестественной для выходца из Берлина. На единственном, возведенном из руин холме<sup>3</sup> этого города до сих пор высились огромные купола установки, во времена холодной войны прослушивавшей Восток как прослушивают ребенка с больными легкими. И всегда в Берлине появлялись безумные пророки, возвещавшие о существовании тайного передатчика, нами управляющего и нас мучающего. Мне вспомнился человек-передатчик, много лет назад бежавший по городу с длинными колышающимися антеннами на голове. Вот где он мог бы поймать волну – здесь, в Красном Торфянике, он бы исцелился. Я открыл глаза и увидел, как у моих ног маленькая армия больших красных муравьев растаскивает на части бабочку Павлиний глаз. Ее напудренные крылья дрожали, словно она собиралась улететь, но это было лишь следствием того ожесточения, с которым красные палачи рассекали тело, – бабочка была уже мертва.

Я вышел на старую Рейхсштрассе рядом с мотелем «У Ани», и мир снова выглядел привычно, как в телевизоре. Я заказал себе бутерброд с овечьим сыром, много воды, и сбросил

рюкзак на стул. Он стал для меня тяжелым, слишком тяжелым, мне необходимо был что-то сделать до перехода через Одер. Мне казалось, что я упаковал лишь самое важное, но теперь я понял, что должен обойтись гораздо меньшим.

Под вечер я добрался до места последнего большого сражения Второй мировой войны – Зееловских высот. За Мюнхехофом, как путевой указатель, лежал пергаментный пузырь высохшей на солнце мертвой лягушки, а перед Янсфельде – лисица с разбитой головой. От рапсовых полей на холмах под Дидерсдорфом несло облако пылицы, окрасившей меня в желтый цвет, дивизия гигантских красных комбайнов медленно двигалась навстречу грозовому фронту, небо становилось все более черным. Я достиг Зеелова в тот момент, когда разразилась буря, по счастью одним из первых домов на этой стороне города оказалась гостиница.

Пока бушевала гроза, за тремя столиками в ресторане гостиницы трое мужчин коротали три одиноких вечера. Один из них был одет в вельветовую куртку и имел вид английского режиссера, снимающего фильм о жизни животных, он заказывал один чайник чая за другим и сосредоточенно вносил поправки в сценарий, как будто проводил вечер в уединении режиссерской палатки под проливным тропическим дождем. Он был как стоик в южной колонии. Тот, кто выживает. Другой был мужчина со взглядом Лу Рида<sup>4</sup>, занесенного сюда по воле случая. Тишина палатки английского режиссера казалась ему невыносимой. Таких людей тропики укрощают, вводят в искушение и в конце концов проглатывают. Сверкающие безумием глаза, скрытые красным стеклами очков, искали товарища по несчастью, чтобы вместе противостоять меланхолии муссона, и стоило зазеваться хотя бы на секунду, как он тут же наладил бы понтонное сообщение между столиками.

Я не стал этого дожидаться. Я взял карманный фонарик и пошел к солдатскому кладбищу. Фонарик мне не понадобился: при полной луне надписи на зееловских камнях были хорошо различимы, они читались как истрепанные карточки из длинного библиотечного ящика какого-нибудь гуманитарного факультета, скажем, в Марбурге. Майер. Конрад. Валентин. Шиллер. Дойч. Зюс. Юнг. Все они были мертвы. Я попытался себе представить, какой могла бы стать эта страна, если бы они все были живыми людьми, а не надписями на камне. Незавершенный труд, несовершенная революция. Немецкий Поуп тоже был здесь, старый, сломанный. Шмелинг. Альберс. Одного звали Гутекунст. Типичное изобретение Мартина Вальзера<sup>5</sup>, Леберехт Гутекунст или что-нибудь в этом роде, но размышлять о Германии было не время. Камни уже гудели в унисон и раскачивались, все кладбище насвистывало теперь знакомую мелодию: *Where have all the Mayers gone?* Где все Майеры теперь, где они остались?<sup>6</sup> Все Дойчи. Все Зюсы. Все Юнги. Этим Юнгам, мальчишкам, в 1945-м не исполнилось даже двадцать, это была бойня восемнадцатилетних, только что со школьной скамьи. Большинство из них было зарыто в неглубоких воронках от разрывов мин, произошло так не из-за нацистской озлобленности или пацифистского ужаса, но потому что бойня была беспорядочной, быстрой, жестокой и ничего другого не оставалось. Чаще всего на камнях в Зеелове встречалось имя «Неизвестный».

Я устал, настроение было ужасным. Я все шел и шел, бесконечно перебирая эти имена и эти истории, двигаясь кругами по густо усеянной надписями земле. Я думал о стране, в которой на протяжении нескольких дней или даже недель можно не встретить ни единого человека. Я достал пиво и присел на могилу, на ней значилось «Неизвестный». Какая насмешка. Неизвестного здесь не было ничего. Все было известно, я всегда точно знал, где я шел и где останавливался, а случалось мне чего-либо не знать, как поблизости непременно отыскивался кто-нибудь и все мне растолковывал.

До этого в военном музее Зеелова мне объяснили, что я полдня ходил по Аллее Повешенных и завтра пойду по ней дальше. Весной сорок пятого так называлось все длинное шоссе от Мюнхеберга до Кюстрина на Одере – между нами, вы же понимаете, СС. Да, я, конечно,



знал. Необычные плоды висели тогда на деревьях, тень которых меня привлекла. Эсесовцы совершенно обезумели в поисках деликатесов. В то время как справа и слева от военной дороги люди гибли как мухи, и дикий, не вполне обосновательный страх перед русскими принуждал их к самым отчаянным поступкам, эсесовцы, украшавшие таким образом деревья между Одером и Мюнхенбергом, похоже, испытывали не столько желание отправиться на фронт, сколько смертельную ярость по отношению к собственному народу. Дезертиров отыскивали быстро и долго с ними не церемонились. Пошел, вверх на грузовик, стой там, под липой, да, вот под этой, эта годится, петля на шею и жми на газ. Следующий. Эсесовцы давали волю той же оскорбленной мстительности, что и помешанный жених из Берлина<sup>7</sup>. Когда все уже проиграно, мы хотим еще раз показать невесте, кого она не заслуживает. Кого немецкий народ оказался недостойн. Что мы, извлекшие его из болота германской посредственности, думаем о его предательстве по отношению к фюреру.

Я почувствовал, что кто-то сидит рядом со мной, я не смотрел туда, я и так знал – кто. Как быстро нагнал он меня, уже в первый вечер, и теперь будет сопровождать всегда: его путь стал моим, мой же путь был дорогой Наполеона и группы армий «Центр», которая была и его дорогой. Я шел на Москву, и ко мне привязался земляк-однополчанин, чтобы слегка действовать мне на нервы своими нашептываниями про воронки и про повешенных. Мне оставалось только спросить его имя и выслушать его рассказы, этого требовала историческая вежливость. Я знаю тебя, бормотал я, ты – гимназист из Мюнхена с «Фаустом» в кармане униформы. Я знаю тебя по зееловскому музею, они собирают там подобные случаи в сером покоренном шкафу для документов; после ограбления его стальные дверки скрипят, да-да, здесь имело место настоящее ограбление, – так далеко заходит любовь к немецкой истории. Я знаю о тебе все. Оторванный от Гете и брошенный в апрельскую трясиину проваливающегося Восточного фронта, ты должен был удерживать Зееловские высоты, последнюю линию обороны перед Берлином, и вот три часа утра, и девять тысяч русских орудий и минометов начинают грохотать, вырывая тебя из тяжелого сна и вдавливая обратно в твою земляную нору, и сто сорок три русских зенитных прожектора одновременно вспыхивают и ослепляют тебя, и все это происходит 16-го апреля 1945 года. Это будет теплый солнечный весенний день. Иван перепахивает Одербрух<sup>8</sup>, Фриц стреляет с высот по наступающим, к вечеру многие русские мертвы, а, возможно, и ты, гимназист, ты, ищущий спасения в «Фаусте» часть первая и вторая, пытающийся все это вынести, ты цепляешься за то, что ты, собственно, есть и чем остаешься, а это – школьный Гете, и ты повторяешь по памяти с трясущейся челюстью «Пасхальную прогулку» здесь, в кровавой трясине, а вокруг тебя трещат автоматные очереди, взрываются мины и так далее – я оглянулся, но рядом никого не было. Но я знал, кто это был. Не тот, о ком поведали камни и музей. Некто, совершенно потерянный среди далей, самый потерянный из всех. Ни камня, ни места, ни имени – ничего. Мы не знаем друг друга, он – мой дед. Он не знает, что я существую, я не знаю, как он умер и где лежит, никто этого не знает. Будь спокоен, шептал я, я пройду по тебе так, что ты этого не заметишь. Будь совершенно спокоен, я пройду сквозь тебя, как ветер.

## У костра

Передо мной была Польша. Сидя на плотине, я наблюдал, как из двух фабричных труб на том берегу Одера вытекает дым, густой и солидный, будто в старой оптимистической кинохронике, он поднимался все выше и выше, как черное знамя, затем налетел западный ветер и погнал его далеко на восток. Я обернулся в сторону Германии, где солнце на закате еще раз осветило битые кирпичи дома сезонных рабочих, расположенного у основания плотины. Дым, ветер, низкий сторбившийся старый дом – на мгновение я ощутил запах зимы, ожидавшей меня впереди, далеко-далеко, на других берегах. Взошла африканская луна – огромный апельсин, повисший над Одербрухом. Сразу за садом, окружавшим кирпичный домик, начинались поля. Косули шуршали, подбирая плоды. Отсюда началось наступление на Зееловские высоты, и война так обильно удобрила землю, что охотники за военной амуницией до сих пор копались в поисках касок, оружия и орденов.

Там на высотах жил старый солдат. Сегодня утром я сказал ему, куда направляюсь, и он меня обругал: «Вы гоняетесь за фантазией, молодой человек, вы просто фантазер! Я был летчиком, я перевозил раненых от Ладожского озера в Кенигсберг. Мой «Ю» делал двести километров в час, я летел пять-шесть часов. Лес, лес, ничего, кроме леса, тысячи километров леса, а до Москвы еще вдвое дальше. Чего вы хотите? Ищите работу? Идите ко мне на поле и с моими деньгами летите себе потом в Москву, впрочем, чушь, лучше всего летите-ка вы не в Москву, а на Майорку».

Я позвонил ему из телефонной будки на обочине, не зная точно, чего, собственно, от него хочу. Я ответил, что не полечу на Майорку и не буду работать на его поле, и он продолжил меня ругать: «Зачем вы ищите смерти? Вы не пройдете даже через поляков, они забьют вас насмерть. И дальше – ах, бросьте, пока вы доберетесь до Москвы, вы погибните трижды. Ноги сводит судорогами, это свыше человеческих сил, вы останетесь лежать в уличной яме, никто вас не подберет. Если бы у вас, по крайней мере, был спутник. Да вы сошли с ума!»

Я спрашивал себя, чего мне от него нужно, и отвечал: мне нужен был жест, одно слово, словесный амулет. Что-нибудь, способное меня защитить, что-нибудь, благодаря чему призрак моего деда опознает меня при встрече. Я хотел получить благословение старого солдата. Но он мне его не дал – я повесил трубку, положив конец его проклятиям, и пошел дальше. Возможно, это меня расстроило бы, если не еще один неожиданный телефонный разговор, который меня занимал настолько, что заставил сойти с шоссе и привел через Горгаст сюда, на Одер.

В доме сезонных рабочих, скрытом теперь темнотой, жил один человек, с ним я познакомился больше двадцати лет назад: он был восточным немцем, а я – западным. Мы встретились в Восточном Берлине, на не запомнившемся мне спектакле в театре Брехта. После этого мы потеряли друг друга из виду. Вчера вечером в гостинице, пролистывая брошюру о прусских следах в Одерланде<sup>9</sup>, я обнаружил его имя и номер телефона. Анонс извещал о его выставке, он был художник. Раньше он жил на самой восточной окраине Восточного Берлина, в маленьком домике, весьма похожем на этот, расположенном в саду, полном складных стульев и незаконченных деревянных скульптур. Только теперь он жил на самом краю Германии, а не Берлина, забраться еще восточнее было просто невозможно. При этом он совсем не был романтиком, скорее ученым естественнонаучного склада. На мой первый вопрос по телефону – что тебя привело сюда? – он ответил, что у каждого своя программа, и, когда обстоятельства благоприятствуют, она выполняется.

Мы сидели на поле, где шелестели косули, он развел костер, который теперь медленно угасал, спустилась ночная прохлада, холодный воздух ластился к нашим голым ногам и нагревался от еще не остывших кирпичных стен, он пах травой, сеном, мусором и прочими земными вещами. Художник говорил о домашних делах, которые нужно было завершить до зимы,

о работе в Берлине, о благотворной удаленности от Берлина, и рассказывал о других местных переселенцах; среди них были потомки знати, переехавшие сюда спустя пятьдесят лет после изгнания их семей, они иногда покупали его картины. Все это было необычно и удивительно: у моей игрушечной марклиновской страны<sup>10</sup> появились обширные окрестности, снова возникли окраины, полупустые восточные провинции. Берлин находился в двух днях пути от меня, и я ощущал себя погруженным в мир Эрнста Вихерта<sup>11</sup>, в котором оставивший столицу художник и потомки исчезающего поместного дворянства приглашали друг друга на чай, и я теперь ясно видел, что Вихерт был меланхоличным братом Марка Твена: гекльберрифинново настроение с кошками и тетками, речкой и лунным светом было все-таки по своей сути очень немецким, особенно это чувствовалось здесь, в Остэльбии<sup>12</sup>. Костер догорел, мы затоптали тлеющие угли, огромный апельсин поднялся выше и превратился во вполне сносную июльскую луну. Это надолго стало моим последним впечатлением от Германии.

На другое утро я произвел инвентаризацию и долго разбирал вещи, пока мой красивый новый рюкзак не опустел. Я оставил его здесь, взял взаимы потертый, старый, наполовину меньше, и сложил в него рубашку, брюки, пару носков (другую рубашку, брюки и пару носков я надел на себя), а также почти ничего не весивший дождевик, шерстяной свитер, который мне пригодится холодной русской осенью, бритвенные принадлежности, тетрадь с записями, карты и спальный мешок. Самое важное было у меня на ногах – сапоги. Этот рюкзак прилегал к спине совсем по-другому. С ним можно было отправляться в путь. Теперь я уже в самом деле был готов: только сейчас, думал я, все начинается всерьез.

Под выцветшим летним небом я шел к границе. На Аллее Повешенных не было теперь ни единого дерева и она называлась улица Дружбы. Она вела прямо к Одеру. Отсутствие тени, жара и прямизна дороги давали заранее почувствовать ожидавшую меня бескрайность Востока. В течение получаса я шел вдоль края одного и того же пшеничного поля, а до этого – между полями подсолнухов. Молодые люди промчались мимо меня в шикарном автомобиле так, словно были в бегах. На кладбище в Китце я лежал под липами и каштанами, наблюдая, как улитка взбирается на могильную плиту Эмиля и Мины Мунк. Жена пережила мужа на двадцать два года.

Никто мной не заинтересовался, когда я переходил Одер. Из-за наводнения течение было быстрым, река несла ветки деревьев, которые она прихватила на своем пути из Силезии. Бурля и клопоча, спешила она между заброшенными, покрытыми паутиной казармами на немецкой стороне и дремлющим под полуденным зноем пограничным пунктом на восточном берегу. Несколько минут на мосту раздавались мои шаги, и вот я уже в Польше. Показалась мощная крепость из красного кирпича, на самой вершине крепостной стены сидел парень и смотрел на поток.

Есть Кюстрин и Кюстрин: нынешний и настоящий. Первый из них – сразу налево, он обозначен дорожными знаками и завешен ценниками, но я проигнорировал шанс запастись освежающими напитками и свернул направо, в заросли. Через несколько шагов я оказался у мощной городской стены, возведенной в том же стиле, что и увиденная с моста крепость. Ацтекское по масштабам сооружение из прусского кирпича. На табличке значилось: заповедник для летучих мышей. Что-то шлепнуло по воде. Рыбак бросил приманку в зеленую от водорослей воду крепостного рва. В стене были ворота, я прошел через них и оказался перед широкой песчаной дорогой. Она вела прямо в центр, и только обочина из больших гранитных плит указывала на то, что эта дорога когда-то была главной улицей исчезнувшего города, а эти неровные плиты служили ее тротуаром. Фазан выпорхнул из высокого кустарника, буйно разросшегося по обеим сторонам улицы. Когда я отодвигал ногой ветви, показывались полуразрушенные фундаменты некогда лучших домов Кюстрина, их обрушившиеся погреба, доверху заполненные запасами земли и мусора. Вымощенная булыжником улочка стороной пробиралась сквозь

заросли к большой яркой надписи «Макдональдс», сиявшей в Новом Кюстрине, однако именно здесь, где на высокой мачте развевался польский флаг, раньше стоял замок. Ацтекское настроение сохранялось. Было безветренно. Флаг висел, как увядший цветок агавы на высоком стебле. Это отнюдь не прусские Помпеи, как называли некогда Кюстрин. Не римский день, вырванный по прихоти богов из полнокровной жизни. Скорее доколумбов упадок – заросший, оставленный и забытый плод столетнего равнодушия, а не вулканическая прихоть одного-единственного утра.

Я вошел в призрачное пространство исчезнувшего замка, прошел по его призрачным коридорам, постоял в его призрачных залах – из всего этого здесь сохранился только обгоревший фрагмент дубового паркета. Я подошел к окну, во всяком случае, когда-то здесь была стена, а в стене – окно. Оно выходило во двор замка. Возможно, это было именно то окно, у которого ранним утром появился кронпринц Фридрих<sup>13</sup>: его заставили, это было частью наказания – стать свидетелем событий, вскоре произошедших внизу. Фридрих в слезах просил фон Катте о прощении, а тот вел себя мужественно перед лицом смерти, – об этом с одобрением сообщает в Берлин его духовник, возмущенный отцом-тираном, который выдумал жуткую сцену в качестве мести, а заодно и воспитательной меры для принца. Фон Катте надеялся остаться в живых. Он до последнего верил, что ему сопутствуют благоприятные знаки; а то, что впоследствии все вышло иначе, вряд ли пошатнуло его мировоззрение. Он отважился не только поддерживать молодого человека, будущего наследника трона, в его личном эскапизме, но и планировал вместе с ним побег в Англию. Он знал, что это преступление. В блеклом утреннем свете 6 ноября 1730 года оказалось, что оно карается смертью. «Je meurs pour vous, mon prince, avec mille de plaisirs. Ради Вас, мой принц, я гибну с великой радостью», – крикнул он вверх, к окну, прежде чем на его голову обрушился меч правосудия.

Гекльберрифинново настроение из сада художника не проходило еще целый день и целую ночь. Шелестели каштаны. Шумели реки. Я лежал на траве. Одер и Варта соединялись как раз под бастионом, у которого я задремал: сон замка захватил и меня. Я проснулся. Парень, которого я заметил в самом начале, все еще сидел на прежнем месте. Загоревшее лицо, разметающаяся соломенная шевелюра и потрескавшиеся губы придавали ему вид юнги с Миссисипи, которым он очевидно не был, поскольку не собирался заботиться о своем корабле, – он постоянно смотрел через реку на запад, как будто чего-то ждал. Я был бы рад, если бы он ждал где-нибудь еще, ведь ночь была теплой, а место хорошим, у меня не было других планов, и хотелось остаться здесь. Я спустился вниз к круглосуточному бару у границы, чтобы купить воды и шоколада, подождал, пока влюбленные парочки скроются из развалин, забыл о фальшивом юнге и решил быть единственным человеком в Кюстрине.

Я проснулся от сорочьей трескотни и поднимающейся от воды утренней прохлады, вытащил карту Польши, провел прямую длиной в семьсот километров от Кюстрина до Белостока, мысленно прошел севернее Познани к готическому Торуню, перешел Вислу, преодолел путь через Восточную Польшу до белорусской границы, перебрался на другую сторону к Гродно, встал на ноги, потянулся, заметил, что бродяга исчез, обернулся еще раз к Германии, взял рюкзак – и захлопнул за собой эту дверь.

## По ту сторону Одера

Воображаемая линия, прочерченная мной на карте, действительно существовала – это была пугающе прямая проселочная дорога, весь смысл существования которой заключался лишь в том, чтобы идти по ней целыми днями; единственным утешением стало то, что автомобильное движение после границы заметно уменьшилось. Запад Польши – бесконечные бранденбургские сосновые леса, смешанные с русскими березами. Отыскать еду или ночлег не составляло труда. Время от времени встречался какой-нибудь городок, какая-нибудь гостиница. На окраине Слоньска, который прежде назывался Зонненбург и был известен своим исправительным домом, кто-то построил гостиницу в виде укрепленного замка с зубчатой стеной и назвал ее в честь польского князя Болеслава Храброго<sup>14</sup>, за тысячу лет до этого завоевавшего эту землю вплоть до Одера.

От дороги на Сквежину, прежде именовавшуюся Шверин, и дальше на Шамотулы, в памяти осталось лишь несколько пейзажей. Леса и поля. Поля и леса. Где-то в лесу на исходе третьего дня на моей воображаемой линии остановился автомобиль, и я не отказался, когда водитель предложил меня подвезти. Он был специалистом по доильным установкам, и поскольку слышал по радио о расположенном неподалеку лагере бойскаутов, то принял меня за их вожакого.

В лесу под Пневками я переночевал в небольшой гостинице у озера. Ее владелец, бывший судья, оставил службу и открыл летний пансион. Жена судьи была учительницей немецкого, и знакомство с ней имело важные последствия, так как с этого момента без какого-либо участия с моей стороны начала протягиваться достаточно, как впоследствии оказалось, прочная сеть телефонной связи между Вартой и Вислой и даже дальше – когда на следующее утро я отправился в путь, в кармане моей рубашки был спрятан небольшой, мелко исписанный листок с телефонными номерами учительниц немецкого, и, если я иногда прибегал к его помощи, каждый раз выяснялось, что меня уже ждали. Я не мог потеряться: Польша за мной присматривала.

Я уже далеко продвинулся – это верно, – однако я еще не до конца расстался с тем миром, из которого пришел. Каждый проезжавший мимо автомобиль, каждый киоск с батончиками Mars и пакетиками Nescafe был ироничным приветом с родины. До состояния, когда это чувство исчезнет и прекратится постоянный пересчет дней и километров, было еще далеко. Пока не истрепались, не порвались и не стали ненужными пять-шесть карт, мой дух, сновавший туда-сюда между Берлином и проселочной дорогой не нашел успокоения в захватывающей монотонности ходьбы. Эти первые недели странствия были промежуточными, как и сама Польша, которую я решил воспринимать как своего рода наклонную плоскость, откуда я медленно соскальзывал. Так оно и было. На протяжении целой недели я буду еще обращаться к исписанному номерами листку в кармане рубашки, но затем от дружеской помощи следовало отказаться и выскользнуть из ее сетей подобно точке, исчезающей с экрана радаров.

Светлые лесные тропы вели на Остроруг. Неброские бранденбургско-русские пейзажи, сопровождавшие меня первые дни за Одером, уступили место мощному дубовому лесу, смешанному с кустарником. Исконная Польша. Пахло грибами, но я их не находил, для них было еще рано, и дикая малина была зеленой. Однажды у дома, стоявшего прямо посреди леса, я встретил человека. Я обратился к нему, указывая прямо перед собой:

- Вилонек?
- Вилонек, так, так!
- Проше?
- Проше, так, так!
- Дзенькуе.

Разговор потребовал всего имевшегося у меня запаса польских слов, примерно так же обстояло с этим дело и дальше.

Вилонек был воплощенной сиейстой: безлюдные деревенские улицы и хриплый петушинный крик. За ослепительно белыми деревянными заборами желтым и красным светились крестьянские огороды, за ними притулились кирпичные домики, будто обожженные самим солнцем; стрельчатый свод, из которого выступала Вилонекская Дева, был раскрашен восточной акварелью: светло-желтым, белым и голубым. Моя рубашка насквозь промокла, мой рот пересох, но найти питья не удалось. Мне все время указывали путь на Остроруг, где есть некий гупек, небольшое торговое место, и, в конце концов, – вода и шоколад. Остроружские девицы прогуливались по рынку разодетыми так, словно именно сегодня их ожидал подарок судьбы, но местные принцы пили пиво на скамейке в парке или хватались за стены, неуверенно огибая угол дома на велосипеде.

На улице, ведущей в Шамотулы, меня подобрала учительница немецкого, чье имя значилось на самом верху списка. Жена судьи предупредила ее по телефону, поэтому она ожидала меня на той улице, где я должен был появиться. Это была красивая молодая католичка. На ее руке поблескивало обручальное кольцо, а в кармашке дверцы у пассажирского кресла ее машины лежала Библия. Была пятница, поэтому к обеду в ее доме не подавали мясного. Стол был еловый, как из осеннего каталога «ИКЕА», «ИКЕА» нового времени. Хозяйка предложила мне картофель и цветную капусту. Она помогала вздыхающим малышам разбирать горы капусты на тарелках, и рассказывала мне, что ее отец, как и многие восточные поляки, после войны был переселен из Волковыска. Она отложила в сторону вилку, словно у нее пропал аппетит, и спросила, знаю ли я Волковыск. Этот город теперь находится в Белоруссии. А также заметил ли я, что ее нынешний дом «красный»?

– Красный дом?

– Так называют немецкие постройки: они все из красного кирпича, их легко узнать.

Мой путь лежал через Познанское воеводство, сам город я обходил с севера<sup>15</sup>, и действительно характерной чертой многих здешних местечек были красные дома кайзеровской эпохи: административные здания, школы, фабрики, крестьянские дворы, вокзалы, а также казармы. До первой мировой войны рейх ускоренными темпами скупал тут земли, строились даже образцовые немецкие поселения. Еще во времена моей юности, много лет спустя после второй мировой войны, познанцами по-прежнему назывались потомки тех, кто переселился сюда до Вильгельма, а затем был вынужден вернуться на прежнюю родину, когда область отошла к Польше по Версальскому договору.

Когда мы сидели в саду, на маленькой машине приехал муж учительницы. Он был в скверном настроении. Пока я под яблоней пил чай с его женой и ел испеченное ею печенье, он выгрузил из багажного отделения какие-то плакаты, затем раздвижной щит с рекламой мороженого, на котором он, очевидно, их развешивал. Настроение хозяйки испортилось. «Политика!» – усмехнулась она, в ее устах это прозвучало как название болезни, требующей незамедлительного врачебного вмешательства. Ее муж был кандидатом от новой консервативной партии. Для предвыборной агитации он ездил в Остроруг, а сейчас вернулся обратно. Она запрокинула голову и рассмеялась в ветви яблони, склоненные над ней, что ей очень шло. Внезапно она посмотрела на меня с раздражением, и я, кажется, понял, о чем она думает. Она сообщила, что не имеет ничего против политических взглядов своего мужа. Она ненавидела коммунизм и благодарил Господа и Папу за крах прежней власти, в юности она с воодушевлением пережила наступление новой эпохи, теперь она была полна планов, – все это она рассказала мне во время короткой поездки. Она специально сбросила скорость и показала мне жалкие здания эпохи коллективизма с их обитателями, не заботившимися о том, чтобы пользоваться свободой и как-нибудь изменить свою жизнь, но мечтавшими как прежде попасть под опеку, «когда все было лучше», и поэтому голосовавшими за партию, которая сулила вновь

запереть их в коммунистическом детском саду. Ну и прекрасно! Но теперь она видела, что ее муж раскладывает идиотские предвыборные плакаты в Остроруге, и к тому же она видела меня, который в ее глазах был еще большим бездельником, – и на свободу сразу падала тень. Мрачные мысли пришли ей в голову, подозрение, что свобода в итоге окажется всего лишь мужской уловкой, чтобы избежать преждевременного одомашнивания со стороны женщин.

– Один собирает почтовые марки, – сказала она, – другой странствует, третий занимается политикой. Мой муж историк, вы только на него посмотрите. Эти люди не в состоянии жить без своей политики.

Много раз за время пути меня спрашивали, почему я делаю то, что делаю. Причем всякий раз вопрос адресовался не только мне, он витал в воздухе, он принадлежал улице, он просто существовал. Реальность, через которую шел мой путь, представляла собой сплошной строительный рынок. Огромный рынок плитки, мебели, автомобилей. Вся Польша заново меблировалась, оклеивалась обоями, облицовывалась плиткой, обзаводилась моторами. Эта страна и я двигались в противоположных направлениях, мне хотелось скорее оставить ее позади и как можно быстрее уйти на восток; поляки же шли в другую сторону, они стремились на запад. Поток воздуха, возникавший при встречном движении, задевал меня, он был единственным, что нас объединяло. То, чем я занимался, было здесь неуместно – я чувствовал это. Иным вечером абсурдность того, что я делал, так на меня давила, что я был близок к отчаянию. Мне хотелось отправиться на вокзал и купить билет до Берлина. Единственной причиной того, что я все-таки не отступился, было дальнейшее продвижение. Чем дальше я уходил на восток, тем дальше удалялся вопрос «зачем». Однако все это было мне еще неизвестно, когда кандидат от консервативной партии, наконец, решил со мной познакомиться. Было ясно, что он захочет задать мне этот вопрос. Его жена представила нас, он смерил меня полунастороженным-полунасмешливым взглядом, но не стал присаживаться за столик.

– В Москву, так, так. – Он усмехнулся. – Вам нужно что-то исправить, так?

Он полагал, что речь идет о какой-нибудь паломнической поездке на автобусе, ведь он был католик.

– У нас в Германии есть один святой, который говорил, что усидчивость есть грех против духа святого<sup>16</sup>.

– И что же с ним стало?

– Сошел с ума.

Учительнице не нравился наш разговор, она спросила мужа, как дела у партии в Остроруге. Он ответил ворчанием.

– Да ладно, скажи. Сколько собрал подписей?

– Нисколько.

Она восторжествовала:

– Нисколько! Ну, что я говорила. У тебя трое детей, слышишь! Что ты носишься со своей политикой?

На это ее муж широко улыбнулся и указал на меня:

– Расскажи об этом ему, ведь он отправляется отсюда в Москву.

– Ах, все вы одинаковы: его Москва, что твоя политика!

## Блуждающие звезды

В Шамотулах я всю ночь не мог сомкнуть глаз: гостиница находилась рядом с товарной станцией, металл грохотал по металлу так, будто здесь грузилась половина Восточного блока. Я не выключал телевизор, пока по нему хоть что-то показывали, он был настроен на какой-то польский канал, один-единственный; в фильме много стреляли из автоматов, перевод появлявшихся внизу английских субтитров немного запаздывал, и это усиливало впечатление того, что фильм показывают в учебных целях. Мне пришло в голову, что я гораздо меньше слежу за действием, чем за жестами, словесными оборотами, выражениями. Как один из персонажей хлопнул дверцей машины и, не закрыв ее, ушел прочь. Как он глядел на женщину. Как убивал. Как умирали люди. Я был почти уверен, что смотрел фильм так же, как любой из местных жителей. Как любой из Галиции, Молдавии или с Алтая. Они смотрят транслируемый на всю планету клип, упражняются у себя на родине и делают дешевую копию. Беспомощность окраины мира, ее неуклюжесть, – это жалкие отголоски того, что передает центральная станция. Где же тогда они живут? Что у них есть? О чем они говорят? Что едят? Как держат стакан? Как двигаются? Как стреляют? Как входят в гостиницу?

Я пошел дальше в Оборники. На рынке стояли китчево-зеленые тенты польской пивоварни, ей принадлежал летний бар. Барменш звали Мария и Маддалена, и я был единственным посетителем. Обе девушки были одеты в красные блузки Coca-Cola и были так предупредительны, что при моем появлении немедленно включили итальянскую поп-музыку, а Маддалена исключительно ради меня отправилась купить молока для кофе, который я заказал вместе с плиткой шоколада. Кроме того, у рынка была пиццерия «Аллегро», киоск «Либерти» с мобильными телефонами, киоск с бюстгальтерами, киоск с солнечными очками и магазин газонокосилок.

Я подождал немного в баре, затем из-за угла вынырнула огненно-красная малолитражка, из которой вышла очередная учительница немецкого, значившаяся в моем списке. Бернадетта настояла на том, что посвятит мне день и покажет местность, – так мы и ездили до самого вечера. Она продемонстрировала мне три мечты. Первая мечта была дневная. Бернадетта привезла меня к секретному месту у реки, где она в детстве пряталась, когда хотела побыть одна. Затем мы отправились к священнику из Рожново, который, по ее словам, был образованным человеком. У него были глаза янтарного цвета и очень мало времени, поскольку вот-вот должна была начаться служба. Стоя в полном церковном облачении в дверях своего роскошного священнического дома, он импровизировал вслух о похороненном у местного костела Франтишке Мицкевиче, брате великого поэта, и польская мечта XIX века о свободе была для него столь насущной, словно речь шла об ужине, который ему приготовит кухарка. Правая рука священника была сжата в кулак, а жестом левой он подчеркивал то, о чем говорил; я заметил, что ногти девяти его пальцев, кроме покалеченного указательного пальца правой руки, были хорошо ухожены. В сумерках Бернадетта привела меня в семью, где меня встретили бигусом и прочими польскими кушаньями, а сын хозяев уступил мне комнату. Он оканчивал школу, упорно тренировался и хотел служить в армии, а затем в спецподразделении – его комната была увешана плакатами, на которых замаскированные и тяжело вооруженные спецназовцы нападали на дом, на поселок, на самолет.

Лето держалось, каждый следующий день был столь же жарким, как и предыдущие, – скоро я буду на Висле. Когда я это понял, меня обуяла дикая радость, впервые я поверил в свое счастье. Нет, ни шагу назад. Вперед! Если только я переберусь через Вислу, все будет в порядке. Лето было не против меня, оно давало мне знак, оно меня принимало.

Я решил сделать передышку перед великим штурмом, и так случилось, что меня пригласили провести выходные в одном крестьянском доме, к востоку от Оборников. Пан Адам,



хозяин, тоже был учителем. Он был историком по призванию и крестьянином вследствие женитьбы, к тому же он занимался международными польско-немецкими проектами. Из немецкого он перенял свою присказку: «Immer mit der Ruhe! – Спокойствие, только спокойствие!». За едой он рассказал об аристократических семьях, возвращавшихся из эмиграции, из Лондона или Парижа. Было упомянуто название Обьеже, эта усадьба была расположена за несколько деревень отсюда, и имя Турно, семья которых жила там из поколения в поколение, а сегодня оказалась рассеянной по всему свету. В Познани, однако, был некий юный Турно, заинтересовавшийся семейной резиденцией. Пан Адам предложил меня с ним познакомиться.

Тесть Адама, невысокий жилистый старый крестьянин, не принимавший до сих пор участия в беседе, отложил в сторону нож и вилку и сказал:

– У масона из Хрустово в доме было шесть черепов. Он держал их в той комнате, где играл с друзьями в карты. А когда надвигалась буря, он садился на коня, объезжал кругом свое владение, говорил всякие слова, и буря уходила. Польская горничная пробыла у него три дня, а потом сбежала из этого ужасного дома. Она черепа увидела.

Старик сделал глоток перед тем, как продолжить:

– Масон из Хрустово был немец, он выпивал каждый день много литров шнапса и предупреждал поляков, когда гестапо хотело их забрать. Каждый день в три часа он выпивал пару шнапсов вместе с мельником, тот тоже был немец. Масон из Хрустово стал управляющим в его поместье, но затем хозяин поместья умер, а масон женился на вдове, она была полькой. Когда было время урожая и пришла гроза, он приказал привести коня, объехал вокруг своих полей, и гроза ушла.

Старый крестьянин замолчал так, как после еды отодвигают тарелку. История про масона была рассказана. Больше рассказывать было нечего. Он поднял стакан и сказал по-немецки:

– Prost! На здоровье!

И затем:

– На востоке они тоже это делали.

– Пили шнапс?

– Колдовали. Они выносили мадонну из дома, помещики, там, в Галиции, и ставили ее во дворе, когда приближалась буря. С мадонной это тоже получалось, сосед мне рассказывал, он оттуда, его русские переселили. Война. – И после небольшой паузы. – Война бывает, когда звезды блуждают. Вы об этом слышали?

– Да, вроде.

– Я один раз видел, в юности. Они движутся, кружат. Это значит, что народы будут блуждать. Здесь у нас всегда переселение народов. Первых восточных поляков переселили сюда еще во время войны, в железнодорожных вагонах, а не после нее. Многие теперь здесь живут, многие белорусы. Перед чеченской войной опять кто-то видел, как звезды блуждают, но это говорилось по радио, я не знаю этого человека. И еще одно. Все войны начинаются летом, когда зерно убрано и хлеб заготовлен. Наполеон пришел летом. Гитлер пришел летом. Мой прапрадед служил у Наполеона офицером, он был немец. Его звали Хельман. Только русские не такие. Они всегда начинали свое наступление зимой.

Тут пан Адам подкатил свою машину, мы все уселись в нее и отправились в монастырь Любин, потому что был праздник. По пути он показал мне местные усадьбы, и почти каждая из них имела какое-то отношение к еще одному Адаму – Адаму Мицкевичу. В этом замке польский герой некоторое время жил, в том он гостил, в следующем он познакомился с дамой. Что за времена, когда любовь, война, и поэзия поддерживали между собой столь нежные отношения! В небольшом замке Смелув польскому поэту устроили настоящий национальный музей. Горящими глазами его юные соратники взирали сверху вниз на скверно одетых посетителей, безучастно бредущих мимо. Как насмешка висела на стене «Ода к молодости» Мицкевича. «Без душ и без сердец – то сонмища скелетов...»<sup>17</sup> Я остановился у небольшой картины,

написанной маслом. Бонапарт, крестный отец поляков, летит на санях через русскую границу, вокруг тьма, позади него – заснеженные ели, в небе – черные вороны. Через Вислу, через Неман, через Березину – я стремился туда<sup>18</sup>.

## Польский дзен

Мы пили зеленый чай с Любинским настоятелем. Он добавил в него несколько зерен коричневого риса. Настоятель был одет в черную футболку от Версаче, носил седоватую бородку, как у Версаче, комплекцией напоминал Джанни Версаче и звался так же – Ян. Он был мастером дзен, а Любин – бенедиктинским монастырем. Он показывал мне фотографии. Его учитель. Его ученики. Его братия. Его поездки. Его лучший друг, польский еврей буддийской веры, преподающий в Париже корейское направление дзен-до.

Когда я ему рассказал о своем намерении, он достал новые фотографии. Монах с бородкой, как у Версаче, на фоне Кремля, монах с бородкой, как у Версаче, на Красной площади. И несмотря на то, что он, разумеется, стоял выше всякого национального эгоизма, он все-таки оставался поляком и не смог удержаться, чтобы не указать своему немецкому гостю на одно обстоятельство, которое, по его словам, часто упускают из виду:

– Единственные, кому удалось надолго захватить Москву, были поляки в 1610 году – вы это знали? Наполеону удалось продержаться лишь несколько недель, а Гитлеру, как известно, не удалось вообще.

Он положил на стол еще одно фото. Человек с бородкой, как у Версаче, перед стеной русского монастыря в Загорске, что под Москвой. Он кивком пригласил меня всмотреться внимательнее и заметил с довольным видом:

– Вот, полюбуйте! После нашествия поляков стены Загорска сделали выше.

Ему доставило радость снабдить меня в дорогу самыми черными представлениями о русских. Его друзья, начал он невинно, ездили в Москву, чтобы обсудить свой бизнес с русскими партнерами, они сидели в гостиничном номере, все складывалось неплохо, но затем русским что-то не понравилось. Один из них неожиданно выхватил пистолет, снял с предохранителя и продырявил стол, за которым велись переговоры, – после этого его друзья свернули свой русский бизнес. Из нас двоих эта история забавляла одного настоятеля.

Затем он провел меня по монастырскому храму, двести семьдесят лет назад здесь появились вездесущие баварские художники и написали фрески с сюжетами из жизни всех четырех сторон света: индус с ламой, японец с зонтом, африканский лев, священная корова Шивы. Далее путь лежал мимо пятидесяти девяти ангелов, облаченных в прозрачных полиэтилен – собор как раз реставрировался, – а потом наверх по множеству лестниц. Полуприкрытые глаза ренессансной мадонны неотступно следили за мной. Куда ты бежишь, шептала она, всё ведь здесь, все четыре стороны света – только иллюзия.

Зал для медитаций любинских монахов выглядел, как многие другие залы для медитаций. Гладкий дощатый пол, подушечки пастельных оттенков, накидки, фото Далай-Ламы, толкующего перед монахами ордена заповеди святого Бенедикта. Спускаясь обратно, мы прошли мимо мемориальных табличек с именами погибших бенедиктинцев. 1941 год, Вильно. 1942 год, Дахау. И так далее. По необычной традиции настоятель каждый ноябрь посещал Освенцим, где он часами сидел между железнодорожных путей на ледяной земле. На платформе он воздвиг небольшой каменный алтарь и молился за души убитых и убийц. Он делал это с друзьями разных национальностей и религий.

Он снова показывал фотографии, на этот раз черно-белые. Небольшая, закутанная из-за мороза группа на рельсах Освенцима – все это напомнило мне акцию немецких противников захоронения ядерных отходов, и моя реакция была предсказуема. Я ничего не сказал, но подумал, что так нельзя. Это смешно и абсурдно. Затем я взглянул на сидящего рядом монаха в его рубашке от Версаче, с его неумелыми исканиями, и был вынужден задуматься о мерно гудящем механизме немецкой памяти, обладающем истинно немецким качеством, при котором звук от падения одного-единственного незакрученного винтика мог вызвать скандал; я смотрел

на монаха, и мне пришло в голову, что один-единственный незакрученный винт имеет большую ценность, чем вся совершенная машина, и один-единственный ищущий более ценен, чем тысяча инженеров памяти. Затем я снова взглянул на его любительские фото и подумал, что то, что делает настоятель в ноябрьский холод в Освенциме, – это ненормально. Мусульманин трубит в еврейский шафар, раввин просит окружающих спеть колыбельную на родном языке, и ясно, что у стоящих там немцев в этот момент перехватывает дыхание. Лишь в самом конце одна немецкая монахиня тибетского вероисповедания все-таки запекает: «Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nelken bedeckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. – Доброго вечера, доброй ночи, украшенный розами, укрытый гвоздиками, прячясь под одеяло: завтра утром, если будет угодно Богу, ты снова проснешься<sup>19</sup>».

Как смешно. Как ненормально. Как смело. Ищущий всегда выставляет себя посмешищем в глазах всего света. Насмешки бюргеров над мистиками – то же самое, что хихиканье детей, когда взрослые ведут речь о сексе. Захватывает, но пугает.

Настоятель предложил мне немного пожить в монастыре, я поблагодарил и отказался. Вдруг он поднялся, было шесть часов вечера, братья уже пели. Перед тем как исчезнуть, он успел еще прокричать мне свое толкование слова «контемплация», мистическое созерцание:

– Погрузиться в созерцание – значит, собственно, утонуть.

## Любовь польской графини

Пан Адам сдержал слово. Воскресным вечером черный вольво припарковался у ворот парка в Обьеже, двое высоких мужчин вышли из автомобиля. Младший из них – должно быть, Турно. Он был в темном костюме и с самого начала придал всему происходящему оттенок непринужденности, что свидетельствовало о его космополитизме. Старший этим теплым летним вечером был одет в светлые брюки и рубашку и выглядел настолько по-западному, что я спросил себя, в чем это проявлялось. Вероятно, в естественности аристократа, которому ближе легкая беседа, чем ожесточенный спор, и который предпочитает рассказать анекдот, чем настаивать на своей правоте. Одним словом, он был приятным человеком.

Младший представил мне его как графа Манковского.

– Он продал свою прекрасную квартиру рядом с Пляс Вандом, – сказал Турно по-немецки, – и переехал из Парижа в Познань, он полностью отказался от своего французско-английского образа жизни, чтобы снова быть здесь, на своей родине.

Затем мы бродили по парку и рассуждали о польском германофильстве.

– Эта часть Польши была бы германофильской, – говорил Манковский по-английски, – если бы не политика Бисмарка, направленная на германизацию в то время, когда Познанская область принадлежала кайзеру. А потом, конечно, ужасы СС.

Его друг слушал несколько удивленно, как будто они впервые беседовали об этих вещах. У Турно, по его словам, не было никаких сложностей с тем, чтобы назвать себя другом немцев. В восьмидесятые годы он еще юношей ездил в Германию по приглашению нескольких семей, чтобы изучить на их землях сельское хозяйство и администрирование, ему тогда помогли задержаться на полтора года.

– Я не знаю, почему они это делали. Наши семьи никогда не были знакомы. Однажды сюда приезжал на охоту немец, он и мой отец сразу же нашли общий язык. Кроме того, существовал круг немецких аристократических семей, которые занимались этим. Впрочем, они помогали не только мне, они также достали печатные станки для Солидарности.

Мы подошли к дому, в котором жили предки Турно, он выглядел заброшенным, только с обратной стороны в одном-двух окнах верхнего этажа горел свет. Я спросил Турно, рад ли он вернуться. Он махнул в сторону темных очертаний за изгибом парковой дорожки.

– Там покоятся двадцать пять моих предков.

Это была семейная часовня, в сумерках она была едва различима.

– Мне принадлежат здесь только могилы, они не были разорены, поскольку находятся под церковью.

Он пытался вернуть усадьбу в собственность, но, по его словам, он деловой человек и должен заработать много денег, прежде чем вложить их сюда.

– К именинию относилось также много земли, три тысячи гектаров, но она давно уже поделена между другими людьми, пусть она у них остается, это уже история. Нет, я не хочу, чтобы усадьба принадлежала мне. Скорее уж какому-нибудь фонду.

Манковский одобрительно кивнул.

– Даже если эти дома снова принадлежат нам, вы знаете, какие это влечет за собой расходы? Чтобы жить в таком доме, нужно иметь пятнадцать слуг.

– А также большую семью, – сказал Турно, – и окружение. Без соседей, без расположенных вокруг дворянских усадеб и имений, жизнь в этих домах немыслима. Это была система семейных связей, люди навещали друг друга, приглашали в гости, вместе опраправлялись на охоту. Все это в прошлом.

– В безвозвратном прошлом.

Ночь целиком завладела парком, дом, о котором мы беседовали, стал почти невидим, и вороны, наконец, договорились, на каком дереве им ночевать. Их пронзительное карканье было для меня еженощной серенадой, так будет впредь: вся земля к востоку от Берлина – воронье царство. Мы сели на скамейку. Никто не собирался уходить.

– Вы в самом деле хотите дойти до России?

– Да, до Москвы.

Манковский взглянул на меня, и в сумерках я не разобрал, был ли услышанный мной смешок, с которым он повторил слово «Москва», уважительным или насмешливым.

– Позвольте мне рассказать вам одну историю, just to entertain you – просто чтобы поразвлечь вас. Но предупреждаю, она правдива. Одно из семейных преданий. Среди моих предков была литовская дворянка, и когда русские оккупировали страну, их военачальник поселился в ее доме. Однажды он приказал повесить простыню в большой комнате и установить проектор, после чего попросил мою родственницу посмотреть вместе с ним кино. Только они вдвоем. Он пообещал, что она не будет скучать: это очень захватывающий фильм. Он сам был режиссером. Тут уж моя родственница догадалась, что после сеанса ее ожидает разговор, от которого многое будет зависеть, возможно, даже ее жизнь. Это был фильм о войне, и речь шла об очень красивой, юной русской партизанке, которая, увы-увы, влюбилась в немецкого офицера. Об этом узнали ее соратники, и было решено, что она умрет. Но, поскольку она была так прекрасна, никто из ее товарищей не хотел сделать роковой выстрел. И они решили столкнуть ее с поезда, когда он будет проезжать по мосту через ущелье, – что и случилось. Этой трагической сценой фильм заканчивался, и русский спросил мою родственницу, понравилось ли ей. Она была хорошо воспитана и крепко держалась за свою жизнь, поэтому ответила, что фильм просто замечательный, и она не могла перевести дух до самой последней секунды. Русский был, похоже, доволен ее ответом, она осмелела и попросила его ответить на свой вопрос.

– Как вы снимали финальную сцену? Актриса так убедительно играет момент своей гибели, как вам это удалось?

Русский был несколько озадачен.

– Играет? Она не играет. В этой последней сцене мы действительно столкнули ее в ущелье.

Сквозь беззвучный смешок, который обычно сопровождает подобные остроты, Манковский сказал:

– They just think different. Они не такие как мы.

Что-то зашелестело, но невозможно было понять, человек или зверь. Затем в свете единственного целого фонаря мы увидели, как через ночной луг что-то крадется. Разговор прервался, это был хороший повод, чтобы разойтись, но, похоже, ни у кого из нас не было желания встать со скамейки и покидать темный сад с его воспоминаниями.

– Если вам интересно, я расскажу еще одну историю, – начал Манковский, – и тоже правдивую. Эта женщина была действительно незаурядной. Она жила в Винногоре, в усадьбе недалеко отсюда. В начале оккупации она поддерживала дружбу с несколькими немецкими офицерами, которые у нее квартировались; позднее она оставила Польшу, работала переводчицей на вермахт в оккупированной Франции и одновременно, рискуя жизнью, – на польское Сопротивление. При этом она была красивой, в высшей степени красивой женщиной.

– Имение Обьежеже тоже было конфисковано, – прервал его Турно, – Артур Грейзер<sup>20</sup> забрал его себе.

Если бы шестьдесят лет назад мы сидели на этой скамейке у ворот, гауляйтер Познани проехал бы всего в нескольких сантиметрах от нас.

– Винногору взял себе фельдмаршал Кейтель<sup>21</sup>, – произнес Манковский, и в его словах не было уже ни тени шутки. Он говорил с искренностью и серьезностью, не допускавшей сомнений. Он был родственником прекрасной владелицы усадьбы. – Эта женщина не просто выжила,

играя рискованную роль двойного агента, но провела невредимыми через войну двух маленьких сыновей и спасла мужа от верной смерти. Моего отца. Да, я говорю о своей матери<sup>22</sup>, вы не слышали о ней? Недавно ей вручили крест за заслуги перед Германией.

Он мысленно перенесся через Одер и Рейн к самой Луаре, к другой усадьбе, весьма скромной, и к одной пожилой даме, которая там жила. Графиня Манковская никогда больше не бывала на своей родине, которую она вынужденно покинула осенью 1939 года. Да и зачем? Польские коммунисты совершенно не стремились вернуть то, что было отнято нацистами. Еще в августе 1939-го она вела в высшей степени беззаботную жизнь молодой замужней аристократки. Она родилась в восточно-польской глубинке, в древнем дворянском имении в Галиции, напоминавшем скорее крепость, чем усадьбу, поблизости от украинской и румынской границ. Однажды там объявился молодой австриец Руди, унаследовавший соседнее имение, и она влюбилась в него. Оба мечтали о свадьбе. Как-то раз Руди отправился на охоту, а под вечер ей позвонили и сообщили, что он мертв. Застрелен браконьером. Она была безутешна, но, несомненно, ее мать имела право утверждать, что лучшее лекарство от ран любви – это любовь; в какой-то момент была устроена встреча с молодым аристократом, прибывшим с далекого польского запада, немного позже они поженились, и она с ним уехала. Так она появилась в замке Винногора под Познанью.

Что-то назревало тем летом. Несколько месяцев то тут, то там возникали слухи о войне, а в августе все свершилось за считанные часы. 30-го числа – мобилизация поляков, спустя два дня – вход немецких войск. И вот уже отхлынула разгромленная польская армия, деревья в Винногоре еще не пожелтели, а парк, дом и все Познанское воеводство уже принадлежали рейху. Большинство знати из окрестных имений бежало на восток или за границу, на запад. Юной даме из Винногоры бегство казалось трусостью: повязывание крестьянского платка и переодевание в одежду прислуги, что на ее глазах случалось с некоторыми дамами, она находила смешным. Трусость не для такой, как она: она иначе воспитана. Она выросла в пограничной крепости, рассказы о доблести и мужестве перед лицом смерти обыденны в суровых галицийских семьях. И она знала, на что способна.

– У нее в гардеробе висело длинное до пят платье, которое надевала ее прапрабабушка на коронацию Наполеона.

Это было давным-давно, но красивая женщина есть красивая женщина, а платье есть платье. Наполеоновское пусть остается в шкафу, в конце концов можно найти кое-что и получше. Клементина Манковская сосредоточилась на прическе и макияже, выбрала одно из наиболее эффектных своих платьев, с цветочным узором, и встретила немецкую оккупационную армию на пороге парадного крыльца. Армия явилась к ней в образе семи офицеров, которые вели себя более чем учтиво по отношению к хозяйке и к слугам. Эти семеро не скрывали своего отвращения к Гитлеру и были настолько любезны, что беседовали с хозяйкой дома по-французски, чтобы не компрометировать ее перед слугами. Пусть немецкая гувернантка не могла скрыть своей радости по поводу новой власти в доме, но пока еще длилось хрупкое лето первой оккупации. Все пытались приспособиться к новым условиям. Усадьбу делили почти по-братски. Однако война и победа быстро отодвинулись дальше на восток, и как только семь офицеров были откомандированы, что произошло уже через пару недель, появился управляющий, который должен был подготовить замок для Кейтеля, гувернантка вступила с ним в связь и дала понять своей обворованной госпоже, кто теперь в доме главный. Графине пришлось смириться со своим полным разорением: даже содержимое шкафов пришлось отдать в распоряжение управляющего, который волен был хозяйничать, пока сам фельдмаршал после скорого окончания войны не поселится в Винногоре.

Но пока был сентябрь, и случилось еще кое-что. Один немецкий полковник<sup>23</sup> бывал в Винногоре чаще, чем того требовала служебная необходимость. Он не мог вдоволь налюбоваться на эту картину, которая возникла на пути его быстро продвигающейся вперед армии,

как медальон на цепочке из беспечных сказочных дней: прекрасная юная всадница, скачущая на своем белом арабском жеребце Дагомане вдоль опушки горящего осенними красками леса. Этот образ воспламенял его тлеющие юношеские мечты, ведь и он сам был всадником душой и телом, и кто знает, как повернулась бы его судьба, если бы не война! Это был действительно памятный медальон, скорее, впрочем, для нее, нежели для него. Ее немецкий офицер отправился дальше на восток, она увиделась с ним еще однажды, в другой раз они разминулись, а после войны она сама уехала далеко из Европы, но чем старше она становилась, тем драгоценнее делался для нее медальон. Всю свою долгую жизнь графиня Манковская хранила воспоминание об этой невозможной любви, снова и снова она извлекала его наружу, рассматривала и отполировывала до блеска. В глубокой старости она решила сесть и все записать. И было не исключено, что даже сейчас, когда ее сын в темном парке рассказывал эту историю незнакомцу, там, в доме на Луаре, ее мысли возвращались к прошлому. Вновь и вновь.

Когда наконец пришло известие от мужа, она обратилась за советом к своим семи немцам. Она ничего не слышала о нем с самого разгрома Польши. Он, конечно, как офицер сражался в поверженной польской армии. А теперь, как она узнала, он лежит тяжело раненный в госпитале где-то в центре страны. Было решено, что она немедленно отправляется в путь, чтобы вытащить его оттуда, и двое из квартировавших у нее немцев, военный врач и капитан, стали ее сопровождать. В результате поисков она нашла мужа, и в этот момент старое отмирает и рождается новое. Юная аристократка превращается в героиню романа, а беззаботная мирная жизнь – в сам военный роман, по страницам которого Клементина Манковская странствует как кочевник жестокого времени, которое никому и ничему не дает остаться собой прежним.

Граф в величайшей опасности. Польской элите не суждено пережить войну. Жена спасает его: у заправочной станции вермахта она подготавливает для бегства машину и бензин. Она находит немецкого фельдфебеля, который дважды в неделю отвозит в комендатуру на подпись прошения об освобождении из плена простых польских солдат. Она очаровывает и подкупает его, заставляя подложить формуляр лейтенанта Манковского в число тех прошений, которые должны были удовлетворить. Она действует хладнокровно, решительно, сознавая власть женщины, желания которой мужчинам трудно не исполнять. Ей везет, невероятно везет.

– Она не только тайно перевезла моего отца домой из госпиталя, но и добилась для него восстановления прав. Она убедила генерала фон Гинанта<sup>24</sup>, командующего Восточной Польшей, выдать документ, в котором излагался инцидент, приведший к тяжелым ранениям графа Манковского, и вермахту было приказано вплоть до конца войны обращаться с ним как с раненым немецким офицером. Случилось вот что: мой отец был послан с какими-то военными бумагами в один из наших госпиталей, где его ожидали польские офицеры. Он услышал снаружи стон, пошел выяснить, в чем дело, и обнаружил, что пятеро польских солдат бьют прикладами лежащего в крови немецкого офицера. Он вступился и приказал немедленно прекратить. Так не поступают с врагом – значилось в его кодексе чести. Эти пятеро, однако, не подчинились приказу лейтенанта и стали еще ожесточеннее избивать тяжело раненного немца. Отец позвал санитаров из ближайшего госпиталя, солдаты объявили его предателем и бросились теперь на него. Их вожак несколько раз выстрелил, отец упал без сознания.

Когда моя мать его разыскала, было неясно, сможет ли он выжить. Он подвергался двойной опасности: его должны были вместе с другими польскими офицерами отправить в Германию, и моя мать перевернула небо и землю, чтобы его не тронули. Ее собственный отец, мой дед из Галиции, при разделе Польши попал в руки советских и был отправлен в Россию. Он оказался в числе четырех тысяч пятисот польских офицеров, которых Сталин приказал уничтожить в Катыни. Охранное письмо генерала некоторое время действовало, о него разбились первые попытки забрать этого невероятным образом освобожденного и живущего в своем доме польского лейтенанта, – осенью все складывалось благополучно. Вплоть до того утра, когда приехали гестаповцы и забрали отца. В это время как раз начались расстрелы. Моя



мать послала в город на велосипеде сына нашего повара и тот привез ужасные новости: гестапо приказало возвести на рыночной площади помост, на котором завтра расстреляют пленников. Мать вывела Дагомана из конюшни и поскакала через лес, через небольшой город, к одной из усадеб. Генерал фон Гинант, разумеется, тоже жил в захваченной усадьбе. По счастью, он был дома. Он успокоил мою мать. После чего позвонил своему знакомому, и тот дал указание гестапо перевести графа Манковского в познанскую больницу, находившуюся под опекой немецких монахинь. Невероятно, но отец снова был на свободе. Этой ноябрьской ночью, когда она верхом возвращалась домой, она во второй раз за несколько недель спасла жизнь своему мужу.

Манковский сделал паузу, мне не было видно его лица. Затем он произнес:

– My mother is that kind of person. Afraid of no one.

Она была такая. Она никого не боялась.

– Спустя три недели снова пришли гестаповцы. На этот раз они дали ему три минуты на сборы. Она показала им письмо генерала. Они его порвали. Мы все теперь были пленными. Отец, мать, мой маленький брат и я. Несколько дней мы провели в лагере. Затем мы ехали в поезде, я помню, что вагон был очень холодным. Мы с братом побежали к дверям, чтобы согреться. Там были немецкие офицеры. Я, конечно, говорил по-немецки, у меня была немецкая гувернантка, я привык отдавать приказы, поэтому я сказал, что хочу пройти. Это услышал один из офицеров. Пустите их, сказал он, они еще дети. Офицеры были с нами очень любезны, дали нам шоколад и другие вещи, – это был вермахт, а не гестапо. Они спросили нас, одни ли мы едем. Нет, с нами мама и папа. Ну, ведите тогда их сюда, был ответ. После дневного переезда через замерзшую страну, поезд внезапно остановился прямо в поле. Нам крикнули:

– Пленные из вагонов.

Пленных должны были увезти. Офицеры сказали нам:

– Вы оставайтесь здесь, поезд едет в Варшаву, там вы незаметно сойдете.

Они спасли нам жизнь.

Остаться в Польше Манковской было нельзя. После нескольких приключений она с сыновьями попала на остров Нуармутье у атлантического побережья Франции, где нашла себе место переводчицы при местном штабе вермахта. Ее муж в безопасности, где-то на нейтральной территории. Он собирается присоединиться к польской эмигрантской армии. Манковская позволяет абверу завербовать себя, чтобы одновременно добывать информацию для отряда Сопротивления, состоявшего из польских офицеров; отряд посылает ее с поручениями по всей Европе и, что еще более осложняет ситуацию, ведет борьбу с руководителями польской эмиграции в Лондоне, – смертельный исход становится все более вероятным. Между тем Сталин договорился с Гитлером и занял Восточную Польшу. Манковская боится за родителей. Отец исчез, мать скрывается. Графиня добывает себе бумагу от вермахта. Вопреки доводам разума она предпринимает смертельно опасное путешествие через всю Францию, Германию и оккупированную территорию в Галицию. Ей помогают в этом три немецких генерала, среди которых уже повышенный в чине бывший полковник из Винногоры, а теперь – военный комендант в Львове. Вновь вспыхивает это невозможное чувство.

Она находит свою мать, узнает, что их замок razoren, а отец увезен советскими, ей чудом удается избежать нескольких арестов, она возвращается во Францию и в конце концов через Марсель и Португалию перебирается с детьми в Англию, где снова встречается с мужем. Там заканчивается ее военный роман. Своего немецкого полковника она никогда больше не встретит. Возможно, она видела еще раз его фото в газете: после войны он стал известным спортивным наездником. Но даже это маловероятно, ведь в Конго такие газеты достать непросто. Именно туда они с мужем переселились.

Пожалуй, в этом секрет ее везения в роли двойного агента и еще большего везения в роли выжившей: она налаживает дружеские связи. Она никогда не ограничивается только деловыми

отношениями. Она проходит через войну с возвышенной наивностью, которую нельзя путать с глупостью или с недостатком благоразумия. Она позволяет себе роскошь личных отношений с людьми и даже с войной. Даже с немцами, которых она защищает в своих воспоминаниях от огульных обвинений со стороны ее собственных друзей-союзников. Даже с поляками, которые отнюдь не всегда относятся к ней дружески. Она рассматривает их всех по отдельности и выше всего ценит то, симпатичен ли ей человек или даже любит ли она его, чем то, какую униформу он носит. Это опасная, но глубоко укоренившаяся роскошь, которая в другие времена и в другом человеке была бы воспринята как проявление сословного высокомерия, но графиня не собирается от нее отказываться. Очевидно, эта роскошь стала ее второй натурой. Но более вероятно, что она тесно срослась с ее первой. И совершенно точно, что это спасло ей жизнь.

Мы молчали. Вторая история, которую граф Манковский предложил пару часов назад, теперь закончилась. Много месяцев спустя в Берлине я перебирал стопку писем: графиня писала их одному немецкому другу, а он их мне показал. «Не разочаровывайтесь слишком, – начинает она письмо, – когда встретите старую, очень старую и немощную женщину. Но настоящее «я» не меняется со временем. Я чувствую себя такой же, как в двадцать и в тридцать лет. Те же глубокие чувства. Платоническая любовь вечна, она не имеет конца. После десяти операций я уже не в состоянии делать те вещи, которые доставляли мне удовольствие. Ухаживать за моими розами. Подолгу читать (очень плохое зрение). Водить машину. Так что же мне остается? Мечтать. О прошлом. О несостоявшемся счастье и невозможной любви».

Остаться не было больше повода, мы покинули парк. Я спросил Манковского, счастлив ли он.

– О, да, конечно, я счастлив. Я вернулся и больше не хочу уезжать. Здесь все, что мне нужно. Я орнитолог и, кроме того, интересуюсь, как вы заметили, историей. А птиц и истории здесь в избытке.

## Бар у Тома – злачное место

Я оставил дом Адама и направился через Жнин на Иновроцлав. На летнем ветру шелестели тополя, многие поля были уже убраны, было самое время для походов на восток, как сказал бы тесть Адама. Это была земля Пястов, первой польской династии. Повсюду были грубо вырезанные из дерева исполинские всадники, подобные тому, мимо которого я как раз проходил, его изношенный щит был раскрыт пополам, словно какой-то великан ударом меча рассек его сверху вниз. Польская любовь к рустике. Я сидел за массивным крестьянским столом со свечой в резном подсвечнике, пил польское пиво, ел толстые польские сардельки, а потом уединился в обитой деревом комнате.

Хохензальца – так назывался Иновроцлав в немецкое время – появился за полями под вечер после долгого марша, я вошел в него через парк отдыха, и, казалось, город все еще оставался тихим соляным курортом, о чем свидетельствовало его немецкое название. Единственная гостиница возникла здесь для того, чтобы путешественники не чувствовали себя чужаками. Строгий конструктивизм с буковой отделкой смягчили каплей индивидуальности, украсили изящным шрифтом, добавили щепотку характерности и приправили радушием, будто веточкой петрушки. Эта гостиница могла бы оказаться в любой точке мира, где останавливаются наблюдатели ООН, инспектирующие выборы. Что совершенно не означало, что она была лучшая из встретившихся на моем пути.

Я нашел единственный ресторан со столиками на улице и стал в нем единственным посетителем. Одновременно с едой явились три ребенка-попрошайки: девочка и два мальчика. Все трое были худыми, дикими и невероятно шустрыми. Самым напористым оказался младший, лет девяти, хотя его глаза казались на десять лет старше, а кожа, как у всех уличных детей, была землисто-серой, не темневшей на солнце. Он повис на заборе, набросился на меня, как маленький юркий зверек, мгновенно исчезающий с добычей в кроне дерева, и заговорил на языке, который мне прежде никогда не доводилось слышать, состоявшем из односложных восклицаний: «фик!», «зак!», «ман!» и тому подобных.

Малыш не мог знать, что сидящий за столом человек тоже подчинялся своим животным инстинктам. Я был голоден, мне было не до шуток. Я провел весь день в пути и съел только плитку шоколада, я защищал свою пищу и отгонял вора прочь от тарелки. Ошибкой было то, что я делал это вслух: троица тут же поняла, что имеет дело с иностранцем. Они скрылись за углом и вернулись, вооруженные новыми словами. Младший вопил: «Мани! Мани!» и недвусмысленно потирал большой палец указательным. Когда это не принесло успеха, он вскочил на забор, вытянулся, насколько мог, и накинулся на мою тарелку. Добычи ему досталось совсем немного: ел я быстро.

Я отправился в спортбар на другом конце рыночной площади и взял себе пива. Коротко стриженный толстый парень приставал к визжавшей девице, пытаясь накрыть ее сачком для ловли бабочек. Играла британская поп-музыка, быстро надвигались сумерки, прохожий звал свою собаку: «Дэмон! Дэмон!»

Холодный пот выступил у меня на лбу, когда я заметил, что в бар вошла пухлая девица, сегодня в полдень сидевшая передо мной в деревенском автобусе. Автобус шел в Жнин, – я проехал немного, когда начался дождь, – я запомнил ее, поскольку произошло нечто странное. Девица вдруг оказалась снаружи автобуса, – я увидел, как она шла мимо, – при этом я был абсолютно уверен, что автобус не останавливался. Мне сделалось не по себе. Я оставил свое пиво и отправился в бар «У Тома». Бар «У Тома» в Хохензальце – злачное место, музыка там такая же отвратительная, как и посетители, и еще там дают, не спрашивая, полулитровый жбан пива. Его я тоже оставил на стойке и пошел в бар «2+1». Там было лучше, люди сидели за

столиками, покрытыми красными, зелеными и желтыми скатертями, – я выбрал желтую – были даже человеческих размеров бокалы с пивом, и я перестал ощущать себя бродягой.

Быстро придя в себя, я направился в четвертый бар, без названия. Тут снова были пивные жбаны, что меня уже не волновало, поскольку я обнаружил музыкальный автомат. Я перекидал в него всю свою мелочь, выбрал десять раз подряд «Nothing Really Matters»<sup>25</sup> и говорил что-то своему жбану и Мадонне: что именно, завтра я вспомнить не смог. Этот новый день опять был прекрасным, небо – синим и белым, а Иновроцлав – самым расчудесным городком, который только можно себе представить.

Несколько часов спустя я сидел на водосточном люке у обочины и размышлял о том, что иду по кругу. Куявско-Поморское воеводство несколько не выглядело восточнее страны за Одером с ее бесконечными сосновыми лесами, оно казалось более западным. Более холмистым, опрятным, густонаселенным, менее сельским – идти здесь было гораздо труднее. Мне хватило с лихвой пыли и грязи, летящей в лицо из-под колес грузовиков. Я отыскал на карте дорогу, где, по моему предположению, движения было меньше, и это меня страшно обрадовало, ведь от моих точных карт обычно было мало толку. Польские улицы, как паутина, разбегаются от больших и маленьких центров, у меня ни разу не получилось найти параллельный путь: такого просто не существовало.

Неширокая дорога поворачивала у консервной фабрики «Бондюэль», нанизывала на себя пару деревень и превращалась в дорожку, которая, согласно карте, шла через Быдгощскую пушу к Торуню. Едва я повернул, как рядом притормозил фиат «Бамбино», его водитель спросил, не нужно ли меня подвезти; мне не хотелось видеть озадаченную физиономию и отвечать на вопросы, поэтому я сказал, что мне недалеко, он все понял и уехал. Через час я добрался до деревенской усадьбы Липе. Господский дом выглядел непритязательно, но парк был большим, окруженным высокой стеной; мне пришлось почти всю ее обойти, чтобы отыскать вход. Все были в поле. Я вошел в парк, кинул на траву рюкзак, рубашку и сапоги и растянулся под развесистым буком. Тишину нарушал только гусиный гогот и шум, доносившийся от зернохранилища, надо мной шелестел, заполняя небо, *perpetuum mobile* веток и листьев. Когда я закрывал глаза, пробивавшиеся сквозь них солнечные лучи набегали на меня красными, карминными, шафрановыми потоками. Кто-то хрипло рассмеялся у меня за спиной и загородил собой солнце.

Я приоткрыл глаз и увидел человека со скошенным набок ртом, он сверлил меня взглядом и протягивал мне руку. Я обернулся, и деревенские дети, которые подползли совсем близко и следили за мной все время, с воплем бросились в кусты. Кривой по-прежнему протягивал мне руку, я пожал ее, он вдруг развернулся с довольным видом и пошел прочь. Это был местный дурачок, стремившийся пожать руку всем в деревне. Я был снова один в траве и под кронами деревьев, но теперь полуденный свет слепил меня, что-то постоянно кусалось и жалилось. Я знал кое-что о парке и доме, который прятался за старыми деревьями, – от мысли о том, что именно здесь все и произошло, мне стало не по себе.

Усадьба принадлежала семье Розенштиль. Первый Розенштиль переселился в Пруссию из Эльзаса. Он преуспевал, но отказался от предложенного ему дворянского звания, ему казалось, что это ни к чему. Лишь его сын принял дворянство, семья получила за свои заслуги владение в Одербрухе, а потом некий король пожаловал другому Розенштилю еще одно имение на востоке Пруссии, в парке которого я и лежал. После первой мировой войны Липе стала польской, и по примеру пруссаков, которые заселяли своими людьми владения в завоеванных землях, поляки теперь выдворяли прусских землевладельцев, в их числе были и Розенштили. По рукам ходили черные списки с именами влиятельных немцев, дошло до кровавых столкновений, – отголоски этого слышны даже сегодня. Возможно, польский национализм развился так радикально, потому что пруссаки немало преуспели в том, чтобы перемешать народы. Польский кучер Розенштилей, во всяком случае, с гордостью носил железный крест, а на полях,

через которые я шел, во время ноябрьской революции стреляли друг в друга немецкие спартаковцы и польская кавалерия. Немцы хотели экспортировать на эту землю свою революцию, но сама польская гордость восстала против докатившегося сюда немецкого бунта, поскольку он казался чем-то прусским.

Летом 1939-го последний Розенштил из Липе уже вырыл себе могилу, у которой его собирались расстрелять<sup>26</sup>, когда немецкие пикирующие бомбардировщики показались в небе – это было начало польской кампании. На этот раз он был спасен. Но когда война повернула вспять, и Советская Армия несколько лет спустя заняла Липе, ему уже не помогло то, что польские конюхи заступились за него и сказали русским: «Добре пан». Это хороший господин, он многим помог. Советские солдаты его не пощадили. Его сын рассказал мне эту историю, прежде чем я перешел Одер. Он снова живет теперь в первой семейной усадьбе.

После Липе я прошел мимо деревенских домов, по которым было видно, что их жителям живется неплохо. У многих вместо огородов перед домом были разбиты английские газоны, а один даже заменил статую Девы Марии на двух гипсовых греческих богинь, купленных на строительном рынке. Другой поставил перед входом в дом белые средиземноморские колонны.

Я наткнулся на щит с предупреждающей надписью и разобрал два слова: армия и смерть. Всякий, кто идет дальше, вероятно, значилось там, может попасть под обстрел, но это был очень ржавый щит, и я подумал, что его не следует принимать всерьез: всего лишь запретная военная зона, ничего особенного. Я шел вдоль опушки и повсюду наткался на такой же ржавый щит. О возвращении не могло быть и речи, это значило удлинить свой путь на целых полдня, а сегодня вечером я рассчитывал уже переправиться на восточный берег Вислы и выйти к Торуню именно из Быгдоцкой пуши. Мне сказали, что той же дорогой шли тевтонские рыцари и видели, как готический шпиль Торуньской башни медленно появляется над пушей.

На протяжении нескольких часов мне никто не встретился, тишина соснового леса нарушалась только криками сарыча или сойки. Мой путь шел сначала по песчаной дорожке, затем – по изъезженной просеке. Идти стало сложнее, это было похоже на бег по дикому песчаному пляжу, но лес того стоил. Он не был сумрачным, он был светлым, просторным и холмистым. Какое-то время я шагал по танковой дороге, сделанной из уложенных в два ряда бетонных плит. Лес поредел, и я в послеполуденный зной вышел в поле. Промежутки между остановками сделались короче, я все время снимал с себя одежду и держал вещи на ветру, слегка пригibasившем высокую траву, доходившую мне до пояса. И хотя было очень жарко, мне пришлось в голову развести огонь, чтобы высушить над ним рубашку и брюки, все время прилипавшие к телу, – так бы получилось быстрее, чем на солнце. Я уже собрал хворост, но вовремя одумался и бросил его: ветер превратил бы костер в степной пожар.

Возникло ощущение, что я становлюсь все легче и легче, подобно моему рюкзаку, который перед Одером был снова решительно выпотрошен. Я приближался к состоянию, когда имеет значение лишь одно – идти, и когда вместо обычного «почему?» в висках стучит только «вперед!». Войска в таком состоянии подчиняются приказу. У меня были мои челюсти, которые перемалывали воздух и остатки слюны, и пока они это делали, все было в порядке. Когда я достиг другого края поля, мое небо стало картонным, а язык превратился в ластик, фляжка с водой опустела еще перед запретной зоной.

Первое, что я увидел, были люди, которые прогуливались с детьми или выгуливали собак, они во все глаза смотрели на меня, а я во все глаза смотрел на автобус: он подождал на остановке с работающим мотором и тяжело тронулся с места. Я хотел куда-нибудь, где можно вдоволь напиться. Сейчас. Немедленно. Но водитель дал газ и отъехал. Он не мог меня не заметить, я видел, как он следил за мной в большое боковое зеркало. Появилось такси, я махнул рукой, водитель притормозил, окинул меня взглядом, жестом показал, что ему нужны деньги, и умчался прочь. Я выругался, пошел по улице, купил на заправочной станции воды и пока

пил, увидел свое отражение в оконном стекле и стал лучше понимать водителей. Я совершенно не выглядел платежеспособным.

Перейдя мост, я едва взглянул на готическую мечту, Торунь, казавшийся большой студенческой пивнушкой, Гейдельбергом на Висле, где большие компании молодых людей в огромных количествах пили пиво в каком-нибудь из многочисленных заведений. Я раздобыл себе комнатку и разделил ее с железным монстром из тренажерного зала, по давнишнему праву занимавшим половину площади. Я использовал его как сушилку для белья и развесил на нем свои влажные вещи. Я плохо спал и проснулся разбитым. Над моей продавленной кроватью висела странная карта. Польша была крышей мира, плоской крышей. Слева Северогерманская низменность клонилась к Атлантическому океану, справа русские дали опрокидывались в бесконечность. Я повернул голову на бок и начал медленно соскальзывать вниз.

## Серьезная граница

Еще неделя и триста километров – и вот я стою перед Наревом и перед выбором. По эту сторону – *zajazd*, гостиница. Деревянная мебель в стиле рустика, полуопущенные занавески и прочее. В гостинице была свободная комната, а уже надвигались сумерки. По ту сторону лежала дорога на Белосток. Я делал шаг вперед, потом назад, стоял в нерешительности у моста. Притормозила машина. Смахивающий на быка водитель, с кожаным ошейником-галстуком, подал знак, чтобы я садился, ему нравился его круглый бритый затылок, он то и дело поглаживал его рукой, слушая длинную радиопередачу о Берлинской стене. То, что говорилось по-польски, я не понимал, только большие вставки на немецком, – у него все было наоборот. Когда цитировали Кеннеди<sup>27</sup>, полностью, без сокращений, в миллионный раз прокручивая эту навязчивую берлинскую песенку, у меня вдруг так защемило сердце, словно я отсутствовал годы. Я был рад, что ничего не нужно говорить, водитель тоже молчал. Мы прослушали всю программу: каждый ту ее половину, которую понимал, и после этого также не сказали ни слова. Не зная, куда я направляюсь, он отвез меня в центр Белостока – ему надо было ехать дальше. Пожав руки, мы расстались.

Через границу существовало два пути: на автобусе или на поезде. Пытаться перейти ее пешком было бессмысленно, пограничники меня бы не пропустили. На следующее утро автовокзал Белостока был абсолютно безлюден, в полдень тоже, и, когда я появился на нем в третий раз, там опять никого не было. Это была недавно заасфальтированная площадь с множеством маленьких кассовых будок, в которых в лучшие времена можно было купить билеты на автобусы до Рима или до Билефельда, до Лондона, Неаполя и Касселя, до Барселоны, Гиссена, Байрейта. Все эти направления и еще многие другие значились на огромных щитах, но кроме меня только вороны медленно прогуливались по асфальту туда-сюда, они были меньше, чем в Берлине, и были украшены ожерельем из светло-серых перьев, что выглядело весьма аристократично.

Открылась единственная касса единственной фирмы, продававшей билеты на единственный шедший сегодня в Белоруссию автобус. Раньше, сказал человек в окошке, на автобусы нападали из-за денег, которые везли с собой белорусские «челноки», чтобы закупаться на западе. Теперь мелкие торговцы летают в Стамбул или Афины и запасаются там всем, чем можно: от автомобильного лака до детского пюре. Я спросил его, не получится ли быстрее добраться поездом.

– Садись на автобус. Если не повезет, возня с перестановкой колес на поезде может длиться часами.

Речь шла, конечно, о ширине русских железных дорог. В лесах восточной Польши заканчивались рельсы узких европейских путей, и начиналось более широкое железнодорожное полотно. Символика была очевидна. Он ухмыльнулся.

– Да, они до сих пор переставляют колеса, как при царе. – Он откинулся назад. – Здесь, – сказал он доверительно и с ударением на каждом слове, – именно здесь – граница будущего.

И поскольку я до сих пор ничего не понял, добавил:

– До этого места ЕС, а дальше – восток.

Тут настал мой черед иронизировать. Восток никому не нужен. Его смахивают с плеча, как птичий помет. Униформу «Восток» никто не хотел носить, ее передавали все дальше и дальше – опять-таки на восток. Если бы я спросил в Бранденбурге, где начинается восток, то ответом было бы: конечно там, в Польше. Спросил бы в Польше, ответили бы: восток начинается в Варшаве, ну да, по большому счету, уже Варшава к нему относится. Меня уверяли, что западную и восточную Польшу теперь невозможно серьезно сравнивать, это уже нечто совсем другое, что я, несомненно, увижу это собственными глазами, когда окажусь к востоку

от Варшавы. Это другой мир – более провинциальный, бедный, грязный. Одно слово – восток. «Остих», как говорим мы у себя дома, «зоних». К востоку от Варшавы ответ вновь звучал недвусмысленно: просто поезжайте по дороге до Белостока. Все, что слева от нее, – западное, католическое, – значит настоящее, польское. Все, что справа, – православное, белорусское. В таком случае, где же восток? Сразу направо от твоего правого сапога. Там, где начинаются дремучие леса и выцветшие деревянные дома, облупившаяся лазурь луковичных куполов, где на бесконечных проселочных дорогах скорее встретишь не автомобиль, а телегу с характерными маленькими резиновыми колесами, которую рысью везет лошадка под деревянным хомутом. И вот всего минуту назад продавец билетов убедил меня в очередном, четвертом по счету, географическом сдвиге. Но и он окажется не последним. В Белоруссии все начнется сначала. Конечно, скажут там, запад страны, некогда польский, не сравним с ее вечно русским востоком и так далее и тому подобное. Восток постоянно отодвигался все дальше и дальше – от Берлина к Москве. Если говорить точно, он немного не доходил до Москвы, ведь Москва, позвольте заметить, – это снова запад.

Я спросил его, каково идти пешком через Белоруссию.

– Трудно сказать. В лесу ты будешь в безопасности, а в городе – нет.

– А на проселочной дороге?

– Опасно.

– Да кому я нужен?

– Да всем! Преступникам, мафии, каким-нибудь типам. Но, я думаю, ты никого из них не увидишь. Не так-то просто их увидеть, они же не бегают туда-сюда. У тебя нет машины, и с виду по тебе не скажешь, что ты при деньгах, так что ты в безопасности.

Он засмеялся:

– Всё это сказки!

Он напряг весь свой английский и сказал:

– Stories!

Автобус отправлялся в полдень. Я прошелся последний раз по Белостоку, и мне бросилось в глаза, какими пустынными кажутся некоторые пограничные города, – те из них, что расположены на настоящей границе, где что-то действительно прерывается и заканчивается, где ослабевает одно магнитное поле и еще не возникает другое, поэтому ничто не притягивает сюда ни деньги, ни фантазию. Только даль, которая теряется в еще более невероятной дали. Такая земля вызывает лишь два желания: затеряться в ней или покорить ее. Я рассматривал темный солдатский строй на белом снегу, крупнозернистую нереальность военных снимков, погребенных в темных, редко открываемых ящиках, у меня в ушах звучал голос моего первого учителя русского языка, командира вермахта. Он входил в класс и погружался в свои грезы. Присев на парту первого ряда, он закидывал ногу на ногу, – знак того, что урок будет необычным, – так проходил наш короткий курс, всегда после обеда, и эти послеобеденные занятия в опустевшей школе сами по себе были чем-то вроде огромной страны, пустого пространства. И тогда он рассказывал о России. Всегда о деревнях, никогда о городах: о полях, о водке, о сушеной рыбе и крестьянском хлебе, о кружках с молоком и о девушках, их разносивших. Не приходилось сомневаться в том, что он любил эту землю, которую покорил во время страшной войны. Он сидел на парте, устремив взгляд вдаль, поверх наших голов и рассказывал, и рассказывал. Из его уроков я не запомнил ни одного русского слова. Остался лишь образ человека, вспоминавшего лучшую часть своей жизни.

Я услышал цокот копыт, он приблизился, и вот из-за угла показалась польская кавалерия. Национальные флаги, лихие усы, обнаженные клинки. Всадников было немного, всего лишь небольшая группа в традиционной форме, но в глазах у командира пылал такой огонь, что даже гордые полячки не могли устоять: они подбегали ближе, обнимали шею его лошади и фотографировались с ним. Командир выставлял вперед подбородок и выпрямлялся в своем



скрипящем седле. Я вспомнил графиню Манковскую. Разве не выказывал своего восхищения перед польской кавалерией один из расквартированных у нее немецких офицеров? Вежливая ложь победителя, кто знает, но тем самым он определенно тронул ее сердце. Не поддающаяся объяснению сентиментальная любовь поляков к своей отважной, но, увы, безнадежно устаревшей кавалерии здесь, на рыночной площади Белостока, проявлялась во всей своей полноте.

Старики в орденах и красно-белых лентах подошли к всадникам и похлопали лошадей по холкам, новобранцы промаршировали по площади, взяли винтовки на караул, а их офицеры обнажили сабли. Между ними затесались упитанные мужчины среднего возраста, которые не принимали участия в битвах прошлого и не обладали природной удалью молодежи, зато отличались усами, как у Леха Валенсы, а иногда униформой городской дружины. Таково было последнее впечатление от мира узких железнодорожных путей, затем штора белорусского автобуса опустилась.

## Часть 2. В Белой стране

### Контрабандистки

Это был старый, сто раз латаный «Икарус» с грязными коричневыми занавесками. Его выцветший красный кузов, помятый и изношенный за многие лета и зимы, напоминал забытую, заржавевшую от времени эмалированную табличку. Шофер неприветливо поглядывал в салон, его напарник, как только автобус остановился, погрузил свои испачканные маслом руки глубоко в мотор и стал в нем копать. Пассажиры в странных солнечных очках медленно выходили из автобуса, бродили вокруг как лунатики и молча курили. Автобус возвращался из Варшавы с крупнейшего русского рынка в Польше, багаж у него был соответствующий. Всюду коробки, некоторые разодранные, всюду обувь, размеры от 41 до 46, расцветки green / silver, – я попал на обувной рейс. Я замешкался в нерешительности в проходе, и водитель тут же рявкнул мне в затылок:

– Садитесь! Садитесь! Нечего здесь стоять.

За полчаса до границы началось великое перекладывание вещей. Все места были заняты, я расположился в самом конце салона на пыльном, изношенном запасном колесе. Женщина, сидевшая передо мной, обернулась и спросила, не могу ли я записать в свою таможенную декларацию пару коробок с обувью. В салоне были одни женщины, за исключением меня, водителя, его напарника, одного молодого человека без багажа и моего соседа, бородастого толстяка, нервно дергавшего лямки моего рюкзака. Казалось, они все друг друга знали, паспорта их были похожи на блокноты собирательниц купонов на скидки: штемпель на штемпеле, страница за страницей. При первом паспортном контроле меня проигнорировали, зато во время второго забрали паспорт, благодаря чему я снискал несколько дружелюбных взглядов, улыбку сидевшей передо мной блондинистой контрабандистки и возглас моего нервного соседа: «Компьютер!» Было неясно, кому адресовать его восхищение: мне или техническому оснащению пограничного пункта. «Смотри, они работают на компьютерах!» Или: «Смотри, сейчас они тебя насквозь просветят!»

В автобусе было невыносимо жарко, а нам приходилось ждать. Мы подождали полчаса, затем час, потом еще час и еще. Следом еще один. Мы давно уже вытащили наружу наш багаж и выставили для проверки вдоль автобуса. Гладильные доски. Канистры со средством для мытья посуды. Плюшевые чехлы для автомобильных кресел. А также обувь, расцветки green / silver, торчавшая из бесчисленных коробок. Но проверка не приходила. Проверка была у автобуса, стоявшего перед нами. Такие же базарные ряды из порванных коробок и неупакованных товаров, позади выстроился немой и решительно настроенный ряд их защитниц, тридцать пар глаз наблюдали за таможенником, расхаживавшим туда-сюда и сверявшим то, что он видел, с колонками цифр на покрытых каракулями таможенных декларациях, пачка которых была у него в руке.

По второй полосе мимо нас медленно ехал мицубиси с вунзидельскими<sup>28</sup> номерами. Я потерял надежду вырваться из таможенной западни до захода солнца и спросил водителя, у которого были три золотых зуба, не подвезет ли он меня, поскольку здесь дело не продвигается и мне хочется найти другой транспорт. Водитель ответил, что сожалеет. Он перегоняет мицубиси в одно местечко сразу за границей, и бензина у него в баке только, чтобы добраться туда, правда, только туда, поэтому он ничем не может мне помочь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.